

Лето 1943 — лето 1947-го

Лошадь бежит быстро-быстро.

— Наверно, уже ушел, — говорит мама. — Если опоздаем... Просто не знаю, что я буду делать...

— Успеем, — успокаивает Лаврентий Осипович.

Телега подпрыгивает на ухабах, проваливается колесами в выбоины, я подлетаю вверх, плюхаюсь на узел, опять подлетаю. Мне становится очень смешно. Еще, еще!..

— Быстрее! — кричу я лошади.

— Перестань хохотать, — говорит мама. — Язык прикусишь.

Лаврентий Осипович оборачивается, смотрит на меня через плечо.

— Веселая... А я тут одних вез... мальчишка у них... постарше вашей... как начало трясти... он и давай орать... Всю дорогу ревел.

— Быстрее! — кричу я.

— Замолчи сейчас же, — сердится мама.

Телега скачет и хочет выскользнуть из-под меня, пока я лечу, лечу, лечу куда-то вверх...

— Понравилось, значит, кататься? — говорит Лаврентий Осипович. — Все! Приехали.

Мы останавливаемся. Мама слезит на землю, снимает меня, узел с вещами. Мне так жалко, что мы приехали, я чувствую, что не удержусь и зареву.

— Прекрати немедленно! — Мама держит меня за руку и тащит вдоль поезда.

Вагоны стоят с широко распахнутыми дверями, на ступеньках везде люди.

— Не сядем, нет! — говорит мама. — Даже и думать нечего... Иди как следует!

Наконец она замечает свободное местечко — на самой нижней ступеньке.

— Влезай, милая, влезай! — подбадривает тетка с таким же узлом, как наш. — Утеснимся, да поместимся. Чего уж... И тебе ехать надо.

Мы примащиваемся возле чьих-то ног. Одной рукой мама обхватывает меня, другой — узел.

— А как на ходу качнет, так и свалимся, — рассуждает тетка. — И конец всей дороге нашей... Ничего, не трусь, милая, авось доедем...

— Хоть бы сверху не напирали, — говорит мама.

— Доедем, — уверяет тетка. — Как все, так и мы.

Поезд трогается. Под ступенькой, разрываясь на полосы, летит земля. Мне страшно.

Колеса стучат в голове. В спину давят чьи-то ноги. Мне плохо, меня рвет.

— Ишь, как растрясло, — говорят у меня над головой. — Небось покормила перед дорогой. Лучше бы с собой взяла. А то вон куда пошло.

— Спасибо, хоть не в вагоне...

Мама молчит.

Мы едем в Москву.

Мы уже в вагоне. В тесноте, да не в обиде.

— Хоть вздремнуть можно, — говорит мама. — Хоть не боишься свалиться на ходу.

Ей хорошо. Когда поезд останавливается, она вместе с другими женщинами спрыгивает на землю и там делает все, что ей надо. А мне она не позволяет вылезать из теплушки.

— Присядь и сделай в щелочку.

Я пытаюсь, но не могу, у меня не получается.

— Делов-то, — говорит какая-то женщина. — Ты что, стыдишься? Никто на тебя и не смотрит.

— Возьми меня с собой, — прошу я маму.

— Только этого не хватало, — отвечает она. — Поезд в любую минуту может тронуться. Одна я еще как-нибудь догоню, а с тобой — наверняка отстану. Ты что, думаешь, что мы там в уборную ходим? Посреди чистого поля садимся.

— Да и кого бояться-то? — говорит женщина. — Мужиков так и так нету, одни бабы.

— Я и сама охотно предпочла бы не вылазить, — уверяет мама.

— Такая малявка, а вишь ты — стыдится, — рассуждают женщины. — А чего тут стыдиться? Как скотина по нужде ходит, так и человек.

Мы едем уже много дней, и в теплушке теперь намного просторней, чем раньше.

— В Москве у нас квартира со всеми удобствами, — сообщает мама. — Хоть бы уже добраться наконец. Хоть бы голову приклонить.

— Что это? Мама, что это?

— Где? Что? Это? Боже мой, это шкаф!

— Это наш шкаф?

— Ну конечно, наш!

Я заглядываю в шкаф. На нижней полке в уголке лежит еще один шкафчик — маленький, с кругленьким зеркальцем в дверце.

— Мама, смотри!

— Ах, подумать только... Это тетя Надя тебе подарила... В сорок первом году, перед самой войной. Сколько воды утекло... Кажется, целая жизнь прошла...

— Он мой?

— Твой, твой... — Мама присаживается на кровать. — Живы ли? Бог весть... Если бы хоть знать, где искать, у кого спрашивать...

Она подымается, вытаскивает из шкафа простыню.

— Полтора года не видела простыни... Как собака на голых досках... Кому рассказать, не поверят. Если бы знала, что меня ожидает...

— И кровать тоже наша? — не унимаюсь я.

— Я же тебе сказала: все наше. Не приставай, дай подумать...

Сколько у нас вещей! Они все время ждали нас тут. А я даже не знала, что мы такие богатые.

Мама стелет простыню поверх матраса.

За шкафом я нахожу железный игрушечный примус. У меня есть шкаф с зеркальцем и примус!

— Не лезь никуда, раздевайся! — говорит мама. — Боже мой, просто не верится — неужели я буду спать по-человечески? На собственной кровати... — Она стягивает с себя платье.

Я тоже забираюсь на кровать и ползу к стенке.

Как тут мягко!

Все переменялось. Отчего это все переменялось? Вчера пол в комнате был деревянный, из маленьких узеньких дощечек, а сегодня — из желтых каменных плиток. И кровать вчера стояла у другой стены. А главное, где наш шкаф? Где все наши вещи?

— Мама, это наша комната?

— Какая комната! Ты что, сегодня родилась?

Сердится. Я боюсь, когда она сердится, и поэтому ничего больше не спрашиваю.

— В нашей комнате будут жить другие, а мы можем убираться, куда угодно! Полтора года высылала последние гроши! Ложки масла ни разу не купила! А теперь должна сквозь землю провалиться!.. — Мама очень сердится.

Я смотрю, как она раскрывает свою сумку, — у нее дрожат руки. Она роется в каких-то бумажках, роняет то одну, то другую.

— Вот, пожалуйста — все квитанции до единой! Счастье еще, что сохранила.

— Так подавайте на него в суд, — говорит молодая женщина, она стоит у дверей.

— Да, — говорит мама, — подумать только, так мечтала: приеду наконец, отдохну. В своей комнате, среди

своих вещей. Так нет — ходи, судись, доказывай!.. Боже, что за проклятье такое! Вставай, — обращается она ко мне. — Ничего, кроме страданий!.. Последняя радость и та оборачивается несчастьем!

Темный длинный коридор. Кто-то говорит:

— Не закрывайте дверь, не видно.

Стулья вдоль стен все заняты. Мне очень хочется сесть.

— Ничего, постоишь, — говорит мама, — не велика барыня.

В маленькую комнатку впускают по несколько человек. Мы должны ждать своей очереди. Я потихоньку присаживаюсь на корточки у стены.

— Встань сейчас же, немедленно вставай! — сердится мама. — Всю грязь решила собрать.

Я встаю.

— Долго еще?

— Можно подумать, что мне доставляет большое удовольствие здесь торчать!

Я отодвигаюсь от нее подальше и незаметно снова опускаюсь на корточки.

— А ну поди сюда! Я что, не говорила тебе, чтоб ты не смела садиться? Ты что, русского языка не понимаешь? Отвечай, что ты молчишь?

— Я устала...

— Ну конечно! Она устала, а я нет. Я никогда не устаю. Грязь, гадость, все плюют, а она уселась!

Женщины молча смотрят на нас, потом отворачиваются.

Зайти бы наконец в эту комнату... В коридоре очень холодно, я дрожу. Низенькая перегородка посреди комнаты качается вверх-вниз, вверх-вниз. Женщина за перегородкой тоже качается, и мама вместе с ней.

— Адрес? — говорит женщина.

— Беговая, семь.

— Не наш участок. Следующий!

— Как же так? Мне же сказали... Я весь день жду!

— Не знаю, гражданка, что вам сказали. Следующий!

— Так куда же мне обращаться?

— Гражданка, здесь не справочная. Не задерживайте. Следующий!

Мы выходим на улицу.

Земля под ногами раскачивается и толкает меня то вправо, то влево.

— Ведь русским языком спрашиваешь! — возмущается мама. — Нарочно два раза переспросила. А теперь оказывается — совершенно в другом месте. И день потерял... Иди как следует! Что за ребенок — черт поганый!..

Мне хочется лечь на землю и немножко отдохнуть, но я боюсь потерять маму. Я иду, иду и падаю.

— Вставай, что такое?! Вставай сейчас же! Что за наказание такое! Сама еле на ногах держишься, а тут изволь мучайся с ней! Не смей реветь!

Разве я реву? Я не реву.

— Тысячу раз тебе сказано: идешь — смотри под ноги! Все как об стенку горох. Иди как следует! Ты что, думаешь, что я буду тебя тащить?

Я стараюсь идти, это ноги не хотят двигаться. Земля качается и вертится. Я хватаюсь за маму.

— Не висни на мне, не смей на мне виснуть!

Мы подходим к нашему дому и заходим в подъезд. Почему-то вместо того, чтобы открыть дверь нашей квартиры, мама принимается ходить по кругу: мимо нашей двери, мимо двух соседних, по ступенькам вверх и опять: мимо нашей двери, мимо двух соседних...

Зачем она это делает? Зачем она ходит по кругу?

— Что с тобой? Что такое?!

Я слышу ее голос, но ничего не вижу и не могу ничего сказать. А потом пропадает и голос.

Кто-то тормозит меня, сажает, держит за плечи.

Я открываю глаза. Какой яркий свет... Больно смотреть... Рядом со мной на кровати сидит женщина в бе-

лом платье. Сбоку стоит мама. Женщина открывает черную коробку и достает оттуда две резиновые трубочки. Я пугаюсь и пытаюсь вырваться.

— Не вертись, сиди как следует, — говорит мама.

Женщина всовывает трубочки себе в уши — хорошо, что не мне! — и прижимает к моей груди какую-то холодную железную штучку.

— Дыши!

Я не знаю, чего она от меня хочет, и замираю.

— Дыши вот так! — Она показывает, как надо дышать.

— Дайте чистую ложечку, — говорит она маме.

— Наталья Григорьевна... — обращается мама к двери, — у вас не найдется чайной ложечки?

За дверью та женщина, которую я уже видела раньше. Она смотрит на нас сквозь стекло.

— Сейчас принесу. — Она исчезает и возвращается с ложкой.

— Открой рот, — говорит женщина в белом и засовывает мне ложку в горло.

Я давлюсь и вырываюсь.

— Подержите ей голову. У нее корь. И воспаление легких. Очевидно, осложнение. Когда она заболела?

— Только что, — говорит мама. — То есть вчера... Мы с ней вышли, она, правда, капризничала, но я не подумала...

— Насморк, кашель давно?

— Кашель? Я как-то не обратила внимания... Мы ведь только что с поезда. Кто знает? Может, и простудилась в дороге... Знаете, теплушки эти насквозь продувает. Одно название...

— Я вам выпишу сульфидин и красный стрептоцид, — говорит белая женщина, запихивая обратно в коробку свои трубочки, — будете давать три раза в день. И теплое питье. Побольше. Если есть, давайте молоко.

— Какое молоко! Откуда? — говорит мама. — Вы смеетесь!.. Я тут без ничего — ни денег, ни карточек.

Даже из вещей ничего нет... Он так внезапно явился, среди ночи... Доктор, вы считаете, это опасно?

— Всякая болезнь опасна.

— Наталья Григорьевна, — говорит мама, когда женщина-доктор уходит, — вот ваша ложечка, большое спасибо, я ее кипятком обдала.

— Не надо, оставьте себе.

— Ах, — говорит мама. — Я так растерялась, когда он пришел. Даже то, что с собой привезла, все забыла... Но какая сволочь! Поднял среди ночи: «Немедленно уберите!» Как будто утром нельзя объяснить. А когда он обычно возвращается?

— Куда?

— Сюда.

— С какой стати он будет сюда возвращаться? Он у жены живет. Там у них отдельная квартира, трехкомнатная. Он ведь на дочери замредактора женился. А сюда он раз в месяц, бывает, наведается, и то не всегда. Это ему кто-то сообщил, что вы приехали, вот он и явился. А так ему здесь делать нечего. Станет он тут жить...

— Может, я бы его попросила... Чтобы он позволил войти... Хотя бы пока ребенок болен.

— Я вас, Нина Владимировна, что-то не понимаю. Бойтесь в собственную комнату зайти. Чего бояться? Ключ есть, откройте и зайдите.

— Нет, что вы, не дай Бог! Только лишние неприятности. Но я с ним поговорю, когда он придет.

— Анатолий Алексеевич, — доносится из коридора мамин голос, — соседи мне сказали, что вы вообще здесь не живете...

— Это вас не касается. А соседей тем более. Кто это вам сказал?

— У меня ребенок тяжело болен. Может, вы бы решили... Хотя бы временно...

— Вы что, за идиота меня принимаете? Я уже, кажется, объяснил: комната моя и останется за мной. Ни на

что другое не рассчитывайте. И вообще, я бы не советовал вам тут задерживаться.

— Я подумала...

— Не может быть и речи. Я специально пришел, чтобы сменить замок. Потом вас никакой силой не выгонишь.

— Разрешите тогда, я хотя бы возьму необходимые вещи.

— Только побыстрей. И покажите, что вы там выносите.

— Нина Владимировна, вы только не обижайтесь, — говорит тетя Наташа, — я рассказала Коле, он говорит, корь — остринфекционное заболевание. Очень заразная, значит. И для маленьких детей очень опасная. Я боюсь за Верочку...

— Но врач сказала, дети до трех месяцев невосприимчивы.

— Сказать она, может, и сказала, а если потом что случится, что я ей сделаю — в суд подам? Давайте уж лучше в коридор вашу кровать перенесем.

— Слезь, — говорит мне мама.

Я сползаю на пол и стою на желтых холодных плитках. Мама с тетей Наташей тащат нашу кровать. Тетя Наташа держит свой край на весу, а у мамы ножки волочатся по полу и оставляют след — две длинные черные черты.

Я одна. Желтенькая лампочка горит под потолком. Я гляжу на нее и засыпаю. Наина Ивановна выходит из своей комнаты, идет на кухню. Я опять засыпаю. Наина Ивановна возвращается и включает радио. От музыки голове делается больно. Хоть бы она поскорей кончилась, эта музыка... «Передаем последние известия», — говорит диктор. Поет женский голос. Лампочка желтая, но по потолку от нее растекаются разноцветные круги. Наина Ивановна выключает радио. Становится тихо.

Кто-то стучит в дверь. Наина Ивановна открывает.

Входит девушка.

— Из поликлиники, — говорит она. — Кому тут банки ставить?

— Наверно, ей. — Наина Ивановна скрывается в своей комнате, хлопнув при этом дверью.

— А где твоя мама? — спрашивает девушка.

— В очереди.

— А чем ты болеешь?

— Корью.

— Написано, пневмония. Ладно, нам-то что за разница... Я тебе поставлю банки, и ты выздоровеешь. Тебе когда-нибудь ставили банки?

Я молчу.

Девушка раскрывает свою сумку. В сумке много стеклянных шариков. Они не совсем круглые, с одного боку у них дырка.

— Ты ляг на живот, — говорит девушка.

Я отодвигаюсь от нее подальше.

— Ты что же, не хочешь лечиться? Вот будешь болеть-болеть и помрешь.

Я молчу.

— Ты думаешь, это больно? Нисколючки не больно! Честное слово, не веришь? Вот гляди... — Она налепляет одну банку себе на руку. — Ну, ты же у нас хорошая девочка... Будь умницей!

Она пытается перевернуть меня на живот, но я вырываюсь.

— Ну что мне с тобой делать! — Она стучит к Наине Ивановне. — Вы мне не поможете? Банки ей надо поставить, я одна не справлюсь.

— Новости! — говорит Наина Ивановна. — Мало того что расположились тут по нахаловке, так я еще буду их обслуживать! — Она хлопает дверью.

— И мать тоже хороша, — бормочет девушка, запирая сумку. — Знает, что банки прописали, так не может посидеть с ребенком. Как будто это мне надо...

Она уходит. Я смотрю на лампочку и засыпаю.

— Что ты делаешь, скотина?! — кричит мама и сталкивает меня на пол. — Каждую ночь, каждую ночь одно и то же! Ты что, не можешь сказать, что тебя тошнит?!

Я подымаюсь с пола и на всякий случай отхожу по-дальше.

Мама комкает простыню, обтирает ею одеяло.

— Сколько, сколько можно?! Ведь должен же быть какой-то предел! Какая-то мера мучений... Снимай рубаху, что ты стоишь, как истукан!

Я стаскиваю с себя мокрую рубаху, мама уходит на кухню стирать. Я слышу, как она наливает воду в один таз, потом в другой. Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп — стирает. Потом полощет. Потом выливает воду. Мне очень холодно, но я молчу. Наконец она возвращается.

— Стоишь, дрянь? Всю ночь собираешься так постоять? Ложись. Подвинься, я что, по-твоему, должна на краю спать?

Мы укладываемся на голый матрац.

— Попробуй мне еще раз тут нагадить, я тебя на лестницу вышвырну, так и знай!

Я никак не могу согреться. В голове катаются шершавые шары, трутся друг о друга. Потом они начинают вытягиваться, превращаются в толстые липкие колбаски. Полосатые колбаски с острыми концами. Колбаски расползаются по всему телу, впиваются в кожу, колот шею, руки, пальцы...

— Целый день таскаешься, как собака, и ночью нет покоя! — дребезжит в ушах мамин голос. — Сколько можно, сколько можно!.. Никаких сил не осталось... Хоть бы сдохнуть уже! Мучаешься, мучаешься — неизвестно для чего, неизвестно зачем... Никакого просвета, никакой надежды, один сплошной кошмар! Боже мой, Боже мой, кому все это нужно?..

У Наины Ивановны гость, брат мужа, военный. В комнате играет патефон. Наина Ивановна стучит каблучками — бегают в кухню и обратно. Дверь она оставляет

СЕМЕЙНЫЙ
РОМАН



Светлана Шенбрунн

РОЗЫ и хризантемы

РОМАН

Книга вторая

МОСКВА «ТЕКСТ» 2019

Алёшино

Что это? Жжет, жжет, разрывает ноздри! Я пытаюсь вырваться, выгибаюсь, кручу головой, но кто-то держит за плечи, вжимает голову в подушку, затыкает нос какой-то мерзкой тряпкой... Нашатырь, это нашатырь, ну да, у нас дома есть маленький черненький пузырек, когда папа приходит домой совсем пьяный, мама отвинчивает пробку и сует ему под нос. Зачем, зачем они это делают?!

— Очнулась, — говорит кто-то.

— Наконец-то!

Я не хочу, не хочу!.. Зачем они заставили меня очнуться? Мне было хорошо! Зачем?! Столпились вокруг меня...

Что-то такое было... Мамино письмо! Бабушка...

— Бабушка! Бабушка!!! Бабушка!.. — кричу я.

— Хорошо, хорошо, — говорит кто-то, — успокойся, не вопи...

Она умерла! Как они не понимают? Бабушка! Бабушка умерла! Я пытаюсь вскочить, вырваться. Умерла... Теперь она не увидит вот этих деревьев! Вот этих деревьев! Не увидит этих зеленых деревьев, которые там, за окном!

— Успокойся, — говорит тот же голос. — Хватит, хватит уже!..

Они не знают, они не читали письма!..

— Ну вы подумайте! — Теперь я вижу: это Вера Алексеевна. — Что за мать! Идиотка какая-то! Извините, что я так говорю, но иначе не скажешь, ведь знает небось своего ребенка! Могла бы сообщить мне, я бы как-то подготовила. Нет, это надо уметь! Поспешила, написала, боялась, не успеет! Пожар какой. На следующей неделе родительский день, так нет — потребова-

лось слать письмо! Сидит себе там в Москве, а мы тут, выходит, за все ответчики.

— Да, можно подумать, такая исключительно замечательная новость! — соглашается с ней врач Ирина Самойловна. — Не терпит отлагательств! И умерла-то, насколько я понимаю, две недели назад, ничего бы не случилось, если бы еще несколько дней потерпела со столь ценным сообщением.

— Бабушка, бабушка, бабушка! — кричу я. — Бабушка!..

— Ирина Самойловна, ну сделайте что-нибудь, невозможно же так... Дайте ей успокаивающее.

— Легко сказать... — вздыхает Ирина Самойловна.

— И мать хороша, и дочка, я вам доложу, тоже не подарочек! Нет, я ее больше ни за что не возьму, пусть даже и не мечтают! Сегодня же позвоню в Литфонд. Отец, я так понимаю, не особенно какой-нибудь там... выдающийся... Нужно выяснить.

— Бабушка! Бабушка, бабушка!!!

— Перестань, успокойся!..

Я не могу, не могу, не могу успокоиться! Этого не должно быть! Не может быть! Почему она умерла?! Она не должна была умирать!!!

Я не хочу, не хочу...

Ирина Самойловна пытается засунуть мне в рот какую-то таблетку. Ни за что, ни за что! Бабушка умерла...

— Еще и кусается! — говорит Ирина Самойловна. — Придется сделать укол.

— Ну так сделайте укол! — сердится Вера Алексеевна. — Вот ведь мучение...

Девочки стоят вокруг и смотрят. Да, нельзя так кричать, нельзя, стыдно так кричать, но что же мне делать? Они не понимают, не понимают!.. Она больше не увидит!.. Ничего не увидит! Никогда... Даже этих деревьев...

Держат, держат меня... Я, кажется...

Темно, темно и ничего не видно, чуть-чуть светится белая оконная рама. Девочки не спят, я чувствую, что они не

спят — шушукаются потихоньку. Про меня... Ужасно, что я так кричала... Зачем я так кричала?

— Вы не спите?

Никто не отвечает, все молчат. Плохо... Может, они знают что-то такое, чего я не знаю? Письмо... А потом? Не помню... Как я очутилась в палате? Стояла на пригорке, были белые странички маминого письма, так плавно опускались на меня откуда-то сверху... Выходит, кто-то перенес меня в палату...

— Хотите, я что-нибудь расскажу? — говорю я спокойно, совершенно спокойно, как будто ничего такого не было, как будто это вовсе не я так ужасно кричала. — Я читала книжку... Про одного студента. Он жил в Австрии...

— Расскажи, — откликается кто-то.

— Его звали Фридрих, он жил в маленьком городке с отцом и матерью, в горах, на берегу озера. Но потом он уехал в столицу, в Вену, чтобы учиться в университете. В Вене ему очень нравилось, потому что Вена большой город, ну, почти как Москва. Шикарный такой город, много театров и вообще всего, магазинов, карет, всяких замечательных вещей. Мать и отец присылали ему деньги, и он снимал комнату в мансарде вместе с еще одним студентом. И вот однажды он получил от матери письмо. Мать сообщала, что его отец тяжело заболел, поэтому Фридрих должен немедленно ехать домой. Ему было жалко отца, но ужасно не хотелось уезжать из Вены, он просто не мог себе представить, как он уедет и больше не увидит своих товарищей, университета, театров. Родной его городок теперь казался ему таким маленьким, скучным. Вообще, раньше жизнь в маленьких городках была очень тоскливая, существовало даже такое правило, чтобы в десять часов вечера тушить все огни и ложиться спать.

— Как у нас в лагере! — говорит Белла Корабельская.

— Сосед по комнате стал утешать его, сказал, что ничего страшного не случилось, отец поправится, и Фридрих сможет снова вернуться в Вену. Но дома он застал отца в очень тяжелом состоянии. Врач сказал, что отчаиваться рано, следует надеяться, что организм справится с болезнью...

Конечно, организмы должны справляться с болезнями... А бабушкин организм... Я чувствую, что у меня опять перехватывает горло. Только бы не заплакать. Только не заплакать... Это будет еще хуже... Зачем я стала рассказывать?..

— А дальше? — спрашивает кто-то от окна.

Я молчу, и девочки молчат.

— Дальше... Я завтра расскажу...

— Вставай, вставай, дружок! С постели на горшок! — играет горн.

Подъем. Да, нужно встать. Проснуться и встать. Буду все делать, как положено. Чтобы Вера Алексеевна не говорила: «И мать хороша, и дочка тоже не подарочек». Надо же — я так и спала в платье, даже одеваться не придется, а сандалии я никогда не надеваю, все время хожу босиком, сандалии у меня есть, но они просто так, «для красоты», я их ненавижу, у всех девочек есть нормальные туфли или босоножки, а у меня эти сандалии, как у маленькой. Не важно, какая разница, я привыкла ходить босиком, нужно только причесаться и заправить койку. Немножко кружится голова...

— Нет, ты лежи, лежи! — говорит Ирина Самойловна. — Завтрак тебе принесут.

— Я лучше сама пойду...

— Нет уж, лежи. От греха подальше. И прими вот это. — Она опять засовывает мне в рот какую-то таблетку, которую я совершенно не хочу глотать, но пусть, не буду с ней спорить, буду делать все, как они скажут, буду совершенно хорошая, спокойная девочка.

Ирина Самойловна уходит, но тут же появляется Вера Алексеевна.

— Ну как ты? Ничего? Вот и правильно! А то раскудаhtалась, как квочка на насесте!

Раскудаhtалась?..

— Я могу встать, честное слово...

— Лежи! Письмо твое... — Она кладет на тумбочку измятые и скомканные листочки, придавливает их ладонью и уходит.

Письмо, правда, я ведь так и не дочитала его. «17-го числа умерла мама...» В груди у меня опять все сжимается, я закрываю глаза и лежу, жду, пока это пройдет. Ни за что не стану больше кричать и плакать. «17-го числа умерла мама, а эта скотина, твой отец...» Что?.. Внутри у меня все холодеет, перед глазами начинают качаться серые круги. «...эта скотина, твой отец...» Какой ужас, какой позор! Что теперь будет?.. Бедный папа... Ведь это... Это... Я вся дрожу, не могу унять дрожь, мне кажется, даже кровать трясется подо мной. «...заявился домой под утро, разумеется, мертвецки пьяный, в таком состоянии, что, поверь, не опишешь никакими словами, не сумел даже доползти до порога собственной комнаты, рухнул в коридорчике и вдобавок опрокинул на себя твою раскладушку, так что, я полагаю, перебудил всех соседей, ни один извозчик не позволит себе назююкаться до подобного непотребства, полное забвение всех норм, принятых в мало-мальски приличном обществе, я уж не говорю об элементарном уважении к близким, Бог с ним, с уважением! Но такое скотство, такая подлость, такая низость, полнейшее отсутствие всех сдерживающих центров, должны же, в конце концов, существовать какие-то пределы? Сам летит в бездонную пропасть и меня толкает туда же, растянулся, представь себе, под дверью, не знаю, может, воображал, что я кинусь поднимать его, друга любезного, вот уж действительно прекрасная роль — жена мастерового, которая волочет на себе из кабака пьяного мужа! Да еще в такой кошмарный день, когда родная мать валяется в морге, и что более всего удивляет: казалось бы, уже пережито столько ударов судьбы, пора бы, наверно, как-то привыкнуть, смириться, но нет, не удастся, всякий раз это свинство, это бездушные потрясает заново, причем с каждым днем падение все глубже, в прошлом году еще хоть как-то прислушивался к моим словам, пытался хотя бы отчасти сохранить видимость приличий, а теперь все окончательно забыто и отброшено, что ни день, то новое издевательство, если бы мне кто-нибудь сказал...»

И они все это читали! Читали все это!.. И Вера Алексеевна, и Ирина Самойловна, и вожатые, и воспитатели, и девочки — весь лагерь! Одна только я не знала, что тут написано...

«Воистину, остается только удивляться, сколько человек может вынести, а как подумаю, что еще ждет впереди, так, ей-богу, начинаю жалеть, что не сдохла вместе с матерью, недаром, видно, сказано: пожалеешь о том дне, когда появился на свет...»

Пожалеешь о том дне, когда появился... Я давно жалею о том дне, когда я появилась на свет, но что же теперь делать? Что теперь делать?! Если бы можно было вдруг исчезнуть, раствориться, провалиться сквозь землю, никогда больше никого не видеть... Может, попробовать совсем не дышать? Вдохнуть один раз воздух, и все, больше не дышать. Бедный папа! Теперь, конечно, все узнают, и разстреляют, и в Литфонде — Вера Алексеевна постоянно ездит в Литфонд! — и в Союзе писателей, и в Правлении... И в «Новом мире», и в «Октябре»... Все друг с другом знакомы, будут рассказывать, смеяться... Я, я во всем виновата! Как я могла, как я позволила?! Как я допустила, чтобы весь лагерь прочел такое письмо?! Убить меня мало! Бежать, бежать отсюда!

Девочки возвращаются из столовой, такие веселые голоса... Они, конечно, все знают... Не дышать, не дышать. Я комкаю письмо и прячу под подушку. Притворюсь, будто сплю. Если бы можно было спать, спать и никогда не проснуться, зачем они сделали так, чтобы я очнулась? Бабушка! Бабушка, если бы ты не умерла!.. Хотя бы эта кровать превратилась в ковер-самолет и вылетела в окно вместе со мной и с проклятым письмом! Нет, не останусь здесь, ни за что не останусь! Уйду пешком в Москву, может, какой-нибудь волк накинется на меня в лесу и сожрет, и никто не узнает, что со мной случилось, будут искать и не найдут. А письмо разорву на мелкие клочки, чтобы никто его больше не смог прочесть!

— Весь день, весь день, — рассказываю я вечером, после отбоя — да, буду притворяться, как будто ничего не слу-

чилось, как будто я ничего не читала, никакого письма, — весь день Фридрих ждал, что друзья придут повидаться с ним, послушать про его счастливое житье в Вене...

Буду рассказывать, пока все не уснут, а потом встану и уйду отсюда, насовсем, чтобы меня вообще больше не было тут, чтобы нигде не было. Расскажу им про Фридриха, который живет в Австрии, а потом встану потихоньку и уйду в лес...

— Но никто так и не пришел к нему. «Может, они еще не знают, что я приехал?» — подумал Фридрих. Под вечер не выдержал и вышел немного прогуляться. Ему повстречались два школьных товарища, он поспешил им навстречу, но они как-то странно посмотрели на него, даже не поздоровались и прошли мимо. Самое удивительное, что через несколько минут то же самое повторилось: еще раз еще два приятеля прошли мимо него, не узнав и не поздоровавшись. Фридрих растерялся. «Неужели я так сильно изменился?», — подумал он.

На следующее утро он разыскал своего самого хорошего товарища и пригласил его позавтракать вместе в кондитерской в центре города. Но опять что-то было не в порядке. Фридрих видел, что знакомые как-то нарочно сторонятся его, стараются не смотреть в его сторону, а если и здороваются, то очень сухо и сдержанно, как будто им известно про него что-то нехорошее...

— Не кажется ли тебе странным, — спросил он товарища, — что никто не хочет поприветствовать меня? Неужели никто не рад тому, что я вернулся? Посмотри, люди избегают даже глядеть на меня, как будто я чем-то их обидел или совершил какой-то скверный поступок. Уж не распустил ли тут кто-нибудь в мое отсутствие какую-то нелепую клевету, подлый слухок?

— Нет, дело не в этом, — усмехнулся товарищ, — просто у тебя завелся двойник, да, представь себе! Я думал, ты уже имел честь повстречать его, он постоянно околачивается в самых людных местах, ужасно неприятный

тип, вздорный, нахальный, но при этом похож на тебя, как две капли воды, как родной брат-близнец, удивительное сходство! Счастье еще, что он носит бородку, а то вас вообще невозможно было бы различить. Все в нашем городе, особенно те, которые не очень хорошо с тобой знакомы, встречая его, думают, что это ты, да ты и сам наверняка скоро наткнешься на него, не знаю, на что он живет, но выглядит он полным бездельником и при каждом удобном случае успевает хоть чем-нибудь досадить людям. Ужасный человек, грубый, невоспитанный, необразованный, однако, должен заметить, сметливый и острый на язык.

— Откуда же он взялся в нашем городе? — воскликнул потрясенный Фридрих.

— Этого никто не знает, — ответил товарищ, — возник внезапно вскоре после твоего отъезда. Между нами, — прибавил он, понизив голос и оглянувшись по сторонам, — мне кажется, что и болезнь твоего отца каким-то образом связана с его появлением, поверь мне, он мог использовать ваше сходство в неблагоприятных целях.

— Неблагоприятных целях? — удивился Фридрих. — Каких именно?

— Да мало ли каких? — сказал товарищ. — Твой отец человек уважаемый, пользуется всеобщим доверием, представь себе, что в какую-нибудь солидную контору или в банк является некто, как две капли воды похожий на тебя, и заявляет, что пришел по поручению отца...

— Слушай, не пугай меня! — воскликнул Фридрих.

— В таком городке, как наш, — сказал товарищ, — честное слово человека до сих пор значит гораздо больше, чем любая расписка или вексель.

— Что это — вексель? — спрашивает Катя Семенова.

— Ну, такая долговая бумага... Не знаю точно.

— Какая разница! — сердится Лёля Левицкая. — Не мешай, дай слушать!

— И вот, — продолжаю я, — не прошло и часа, как Фридрих и вправду повстречал своего двойника, причем ря-

дом с собственным домом. Можно было подумать, что тот специально дожидался его. Если бы не русая борода, прикрывавшая нижнюю часть лица самозванца, Фридрих подумал бы, что перед ним поставили зеркало и он видит собственное отражение: те же прямые брови, та же узкая переносица, светло-голубые глаза и, что самое удивительное, то же темное родимое пятно на виске — только не на правом, как у Фридриха, а на левом. Отражение, наклеившее бородку. Фридриху почудилось, что у него украли внешность. Он невольно потянулся рукой к своему правому виску проверить, на месте ли родимое пятно. Двойник стоял перед ним, не двигаясь, нахально усмехался и слегка покачивался с носков на пятки. Фридрих почувствовал, что бледнеет под его презрительным взглядом и вот-вот лишится чувств. С великим трудом он взял себя в руки и двинулся дальше, двойник как будто хотел последовать за ним или что-то сказать, но передумал и позволил ему пройти мимо.

Зайдя в дом, Фридрих, не снимая пальто и шляпы, упал в кресло. Все его мысли смешались и перепутались. «Кто этот человек? — думал он. — Он что-то замышляет, может быть, даже что-то опасное, необходимо принять какие-то меры». Но не мог сообразить какие. Нужно было с кем-то посоветоваться, но с кем? Отец слишком слаб и болен, его нельзя беспокоить, всякое волнение может убить его. Оставалось только одно: поговорить с матерью. «За всем этим скрывается какая-то тайна, — думал Фридрих, — какая-то ужасная тайна...» Так он просидел в кресле полчаса, а может, и больше, наконец в комнату заглянула служанка, а следом за ней появилась и мать, госпожа Феербах.

«Хорошо, что ты вернулся, — сказала она, — я не знала, как мне поступить с завтраком, ты ушел, не позавтракав...»

«Я позавтракал в городе, — буркнул Фридрих. — Мама, мне необходимо поговорить с тобой. Ты, наверно, и сама заметила, что тут происходит что-то очень странное...»

Мать вздохнула и ничего не ответила. Фридрих подумал, что она догадалась, о чем он собирается с ней го-

ворить, но даже если она и догадалась, то предстоящий разговор, судя по всему, нисколько ее не радовал... В это время...

Я смотрю на оконную раму. Что это? Кто-то стоит там. То слегка отступает, то вплотную придвигается к стеклу. Я сажусь на постели и изо всех сил вжимаюсь спиной в подушку.

— Что в это время? — спрашивает кто-то из девочек.

— В это время...

Нет, там в самом деле кто-то стоит! Женщина... Наклоняется... Длинные белые волосы развеваются под ветром, взлетают над головой... Два прозрачных глаза — в точности как у Гали Константиновой! Светятся, как два лунных камня...

— Ну, что ты? Рассказывай! — требуют девочки. — Что дальше?

— Не знаю, — говорю я, — не помню... Давайте лучше спать.

— Ну, пожалуйста! — упрасивает Мира Долгопольская. — Так нечестно! На самом интересном месте!

— А что ты хочешь — чтобы тебе за одну ночь пересказали всю книгу? — заступается за меня Света Федина.

Я смотрю на оконный переплет и боюсь отвести глаза. Почему никто из девочек не замечает, что там кто-то стоит, за окном? Сказать им? Нет, не буду, они еще подумают, что я совсем сошла с ума... Спрятаться под одеяло? А если она, эта женщина, заберется в палату? Нет, в лес я сегодня не пойду, ни за что не пойду...

Утро, тепло, солнышко светит, пригревает плечи и спину, я сижу на пригорке над речкой. Кучка земли шевелится, осыпается у моих ног. Это крот роет себе нору, прокладывает подземные ходы, а лишнюю землю выталкивает наверх. Мальчики иногда раскапывают норы и вытаскивают крота наружу. Он толстый, черный и очень симпатичный. У него такая плотная блестящая шуба. Я ни за

что не стала бы выкапывать крота — пускай себе живет, занимается своими делами, запасает зернышки на зиму.

В столовую я сегодня не пошла, не хочу никого видеть... Все пошли на завтрак, а я потихонечку убежала на речку. Как это замечательно, что в Алёшине есть речка! Посижу вот так, не буду ни о чем думать, ни о чем...

Кусты вдруг раздвигаются, и на пригорок взбирается Галя Константинова. Откуда она узнала, что я тут? Или просто так шла и случайно наткнулась на меня? А может, она почувствовала, что я тут? Если она чувствует взгляд, может, она умеет почувствовать, где искать человека?

— Хорошо тут... — Галя присаживается на ствол упавшего дерева.

— Хорошо, — соглашаюсь я.

— Самое приятное, что никого нет...

Как это никого нет? А я? Какая она красивая... За этот год она сделалась еще красивее. Удивительная девочка...

— Полно земляники, — сообщает Галя.

Я не отвечаю. Да, конечно, тут везде много земляники, особенно на кладбище.

— Ты очень любила бабушку? — спрашивает она.

— Не знаю, не думаю...

— А почему же ты так кричала?

— Ты думаешь, это из-за любви? Нет, по-моему, любовь тут вообще ни при чем. Даже если бы я ее совсем не любила, все равно это ужасно, что она умерла...

Галя подымает свои необыкновенные светло-серые прозрачные глаза и смотрит на меня так, будто старается угадать мои мысли. Будто уже читает взглядом мысли, которые у меня в голове... Раньше она никогда со мной не говорила, ну, может, несколько слов случайно, а теперь вдруг интересуется, почему я так кричала...

— Ведь это ужасно, — говорю я, — был человек, и вдруг его нет. Целый человек, со всеми его... — Мама сказала бы «бзиками», но мне не хочется говорить про бабушку «бзиками». — Со всеми его мыслями, разговорами, поступками... Был, и вдруг ничего нет... И уже никогда не будет. Это ужасно, нечестно, несправедливо!